



политика

С.Т.Золян

ЯЗЫК ПОЛИТИКИ ИЛИ ЯЗЫК В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ?¹

¹ Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 18-18-00442 «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках») в Балтийском федеральном университете им. И.Канта.

Сурен Тигранович Золян — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института философии, социологии и права Национальной академии наук Армении (Ереван), профессор Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград). Для связи с автором: surenzolyan@gmail.com.

Аннотация. В статье предпринята попытка разграничить понятия «язык политики» и «язык в политической функции». Под «языком политики» обычно понимают языковые средства, используемые в политической коммуникации или в политических целях, что, по мнению автора, точнее было бы назвать «языком в политической функции».

Политику можно рассматривать как некий коммуникативный модус человеческой деятельности, в котором языку принадлежит роль инструмента или даже инструмента всех политических инструментов. Нарастающее воздействие на политические процессы коммуникативных и семантических факторов влечет за собой еще большее повышение значимости семиотических характеристик. При этом возможна и обратная перспектива: рассмотрение политики как специфической формы языковой деятельности — *производимого посредством институционализированных речевых актов приспособления мира к словам*. Перформативность и автореферентность институциональных фактов, конституирующих социальную онтологию, приводят к тому, что под видом репрезентации реальности текст ее же и формирует.

Лингвосемиотические характеристики языка в политической функции могут быть дополнены лингвокоммуникативными, если в схему языковых функций Р.Якобсона ввести еще одну, политическую. Она может трактоваться как перевернутая магическая функция, когда «отсутствующее или неодушевленное „третье лицо“» превращается не только в адресата, но и в отправителя сообщения. При политической коммуникации происходит институционализация не только адресата и адресанта, но и самой коммуникации, реальная коммуникация формализуется как ее семиотический аналог. Как и в случае с магической функцией языка, предполагается, что речевой акт приведет к изменению мира, и участники этого акта наделяются соответствующей силой, но источником этой силы здесь выступает не мифология, а социальная структура общества.

Ключевые слова: язык, политическая функция, речевые акты, политическая коммуникация, политическая реальность

В настоящей статье предпринята попытка разграничить понятия «язык политики» и «язык в политической функции». Противоречия и неясности, возникающие при их применении, проистекают из-за принципиальной неопределенности, во-первых, того, что такое «язык политики» и что может выступать по отношению к нему метаязыком, а во-вторых, того, что следует считать «политической функцией» языка или же «языком в политической функции». Нетрудно заметить, что при употреблении словосочетаний «политический язык» или «язык политики» обычно имеют в виду языковые средства, используемые в политической коммуникации или в политических целях, что точнее было бы называть «языком в политической функции». Наконец, существует множество толкований того, что есть политика и политическое. Разнообразие подходов к этим базовым концептам открывает возможность построения самых разных теорий. Очевидно, однако, что любая теория будет обречена двигаться по кругу и не приведет к каким-либо содержательным объяснениям, если не будет проведено разграничение между самой субстанцией языка, используемого в политике, и теми социальными и коммуникативными функциями, которые выполняет язык. В связи с этим, настаивая на единственности своего подхода, мы попробуем предложить некоторый концептуальный каркас, основанный на идеях, достаточно продуктивно разработанных в лингвистике и семиотике.

Поскольку язык политики — это тот же естественный язык, в нем могут встречаться те же явления, что и в других модусах употребления языка, а значит, будут адекватными и все применимые к ним лингво-семиотические характеристики. Но это уведет нас от рассмотрения собственно проблемы — *языка политики* — и вернет в область стилистики, то есть варьирования общезыковой системы в различных функциональных стилях, где речь идет не о структурных, а о количественных различиях (чуть больше метафор и меньше терминов, чем в научном языке; больше иностранных слов, чем в поэтической речи, и т.п.). При всей практической ценности такого рода анализа для некоторых сфер (теория перевода, риторика и проч.) в теоретическом плане данный подход кажется нам малопродуктивным. Основанные на нем исследования, несмотря на их многочисленность, по сути, не внесли ничего нового по сравнению с эпохой Квинтилиана. В свое время он доминировал в теории художественной речи, породив бесчисленное множество работ на тему «язык и стиль писателя». Ситуация изменилась, когда объектом изучения стал не язык поэзии (например, «творительный падеж в творчестве Пушкина»), а язык в поэтической функции — функционально-обусловленные трансформации естественного языка в поэзии. Единицы языка остаются теми же, поэтому их описание не в состоянии выявить что-либо новое. Меняется система отношений, в которой они функционируют, — а тем самым и их характеристики в этой системе.

С учетом вышесказанного мы считаем целесообразным отталкиваться от инструментального подхода к языку: *«Язык — это инструмент. Его понятия суть инструменты»*². Это не отменяет рассмотрения

² «*Language is an instrument. Its concepts are instruments*» (Wittgenstein 1958: 291).

языка как системы и структуры, однако соответствующие характеристики будут рассмотрены в соотнесении с функциональными, или инструментальными. Разумеется, приведенное определение требует продолжения (в виде указания на ту или иную функциональную сферу): язык — это инструмент, но инструмент чего? Один из вариантов ответа на этот вопрос был предложен еще Платоном, который в «Кратиле» назвал имя «орудием, инструментом», *органом* (в русских переводах эти понятия оказались разведены): «Имя есть некое орудие обучения и распределения сущностей, как, скажем, челнок — орудие распределения нити»³. Это изречение принято понимать так, что для Платона язык есть инструмент обучения и познания. Возможны, конечно, и другие варианты. Наиболее распространенными являются интерпретации языка как средства коммуникации, мышления, поэтического творчества и проч., что находит выражение в многообразии, с одной стороны, языковых функций, с другой — *языковых игр* (в том смысле, который вкладывал в это понятие Людвиг Витгенштейн, обозначавший им «единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен»⁴). К примеру, для Бронислава Малиновского коммуникативная функция языка была далеко не определяющей.

³ Платон 2006: 603.

⁴ Wittgenstein 1958: 5.

NB! «...Рассмотрение того, как используется язык в связи с каким-либо практическим делом, — отмечал он, — ведет к заключению, что язык в своих примитивных формах должен рассматриваться и изучаться на фоне человеческой деятельности и как форма человеческого поведения в практических делах. <...> ...Язык в своей примитивной функции и первоначальной форме имеет существенно прагматический характер... он есть форма поведения — необходимый элемент согласованных человеческих действий. ...Рассматривать язык как некое средство выражения и передачи мысли — значит занять одностороннюю позицию, абсолютизируя одну из самых производных и специальных его функций <...> Такой подход позволяет отнести речь к активным формам человеческого поведения, а не к рефлексивным и когнитивным»⁵.

⁵ Малиновский 2005: 211, 216.

Именно в таком аспекте язык может быть рассмотрен как *инструмент политики* (что адекватнее, нежели рассмотрение языка политики, как будет показано ниже). Так трактовал язык еще Гарольд Лассвелл, озаглавивший одну из главок своей статьи о языке власти «Язык как инструмент власти»: «Изучение процессов ограничения и распространения требует обращения к общей теории языка и к языку как фактору, определяющему состояние власти и фиксирующему различные политические тенденции. Определенная часть реформ, осуществляемых властью, вызвана языковыми причинами, в связи с этим одной из наших задач является установление соотношения между специальной теорией языка, политикой и общей теорией власти»⁶.

⁶ Лассвелл 2006: 278—279.

Безусловно, политика — как бы мы ее ни понимали — для своей реализации нуждается в языковых средствах. Более того, нельзя

обойтись без языка и при использовании любых политических инструментов. Но язык при этом обычно трактуется лишь как некий необходимый канал коммуникации, сам по себе не влияющий существенно на суть политических процессов (что позволяет им пренебречь). Так, язык, на котором написаны законы, никак не отражается на их содержании, и его воздействие ограничивается сферой стилистики (требования ясности, однозначности, лаконичности и т.п.).

В XX в., однако, оформляется противоположная точка зрения (получившая наиболее выпуклое выражение в романе Джорджа Оруэлла «1984»), в соответствии с которой именно язык является основным инструментом осуществления политики. Нарастающее воздействие на политические процессы коммуникативных и семантических факторов ведет к еще большему повышению значимости семиотических характеристик. Становится все очевиднее, что, поскольку политика есть некий коммуникативный модус человеческой деятельности, неотделимые от коммуникации семиотические аспекты в ней играют ключевую роль. Язык — это не внешняя по отношению к собственно политике система выражения некоей деятельности, а один из инструментов политики или даже инструмент всех политических инструментов (в некоторых случаях вместе с иными знаковыми системами). Но даже такого широкого понимания недостаточно, ибо оно предполагает, что возможна некая сфера политики, для осуществления которой затем потребуется некий внеположный ей лингвосемиотический инструментарий. Между тем разграничение этих двух сфер — собственно политической и обслуживающей ее семиотической инструментальной — вряд ли целесообразно, если вообще представимо. Дело в том, что сфера политики — это не физическая реальность, а социальная (институциональная), которая если и не является лингвистической по своей сути, может быть создана только посредством языковых или каких-либо других символических форм и без них и вне них не может существовать⁷.

⁷ См. Бергер и Луман 1995; Searle 1995.

Рассмотрим умозрительную ситуацию с аграрной реформой. Проведение этой реформы потребует создания множества текстов — аналитических, законодательных, пояснительных, пропагандистских и т.п. В этом смысле реформа невозможна без языковых средств, однако определяется не ими. Все эти тексты есть лишь внешний по отношению к ее содержанию способ выражения. Но это лишь на первый взгляд: как показал в свое время Джон Сёрль, существует куда более глубокая зависимость политического процесса от языковых средств⁸. Так, рассматриваемая нами реформа будет базироваться не на каких-либо физических обстоятельствах и объектах (Сёрль называет последние *грубыми фактами*), а на таких закрепленных нормативными текстами и описывающих их социальных институтах и концептах, как «собственность», «границы», «деньги», «гражданство», «наследство» и проч. Например, предложение «Это моя земля» может быть понято только посредством интерпретирующих его социальных установлений, от которых и будет зависеть его ложность или истинность, что далеко не всегда очевидно

⁸ См. Searle 1995.

(поэтому и семантическую оценку — ложное оно или истинное — в конечном счете может дать лишь еще один специализированный социальный институт — суд, причем сам суд и его деятельность тоже суть порождение и реализация некоторого свода описывающих его текстов). Любой социальный институт может функционировать только приобретя семиотическую форму и в соответствии с определенными прагмасемантическими правилами. Более того, сам этот институт и институциональный факт создаются неким речевым актом (Сёрль называет его декларацией): «Эта бумажка есть средство платежа»; «Этот человек — президент США»; «С этого момента это мой дом»; «Этот человек виновен».

Отношение между языком и политикой может быть рассмотрено и в обратной перспективе. Можно трактовать политику как деятельность, которая для своего осуществления нуждается в языке, но можно трактовать ее и как специфическую форму языковой деятельности, или, в более общей перспективе, как определенный модус коммуникации, или как особую языковую игру (так же как, например, поэзию или отдачу приказов). Если предположить, что политика есть некая целенаправленная деятельность по изменению мира в соответствии с некоторым текстом («программой») или недопущению подобного изменения опять-таки в соответствии с некоторым текстом («каноном»), то тогда сама политика окажется реализацией одной из инструментальных функций языка — *производимым посредством институционализованных речевых актов приспособлением мира к словам*⁹. Традиционно лингвистика занималась тем, что описывала приспособление слов к миру. Однако после появления работ Витгенштейна, Джона Остина и Сёрля наряду с хрестоматийным утверждением, согласно которому «язык — это отражение действительности», столь же весомым стало и обратное: язык есть средство создания или преобразования действительности. Перефразируя «Тезисы о Фейербахе» Карла Маркса, можно сказать: если раньше считалось, что язык лишь различным образом *объясняет* мир, то теперь требуется *показать*, как он может *изменить* его. При таком широком понимании уже сама политика предстает одной из инструментальных функций языка — механизмом приспособления мира к словам. Здесь язык выступает и как форма конструирования и интерпретации действительности, и как особый тип социального (речевого) поведения и взаимодействия¹⁰.

Как и в лингвистике, в политической науке исследователь не может обойти двойственность естественного языка, который включает в себя в том числе и свой метаязык. Слова и другие языковые средства, *благодаря* которым *говорят на языке*, являются и *единицами языка*, на котором *говорят о языке*. Смешение этих уровней приводит к появлению двусмысленностей и парадоксов, подобных парадоксу лжеца.

NB! Сошлемся на любопытный документ — подготовленный Центром общественно-политических проектов и коммуникаций доклад «Перспективы и механизмы консолидации экспертного сообщества: к российской версии политического языка», демонстрирующий,

⁹ «Некоторые иллокуции в качестве части своей иллокутивной цели имеют стремление сделать так, чтобы слова (а точнее — пропозициональное содержание речи) соответствовали миру; другие иллокуции связаны с целью сделать так, чтобы мир соответствовал словам. Утверждения попадают в первую категорию, обещания и просьбы — во вторую» (Сёрль 1986: 172).

¹⁰ Подробнее см. Золян 2016.

с одной стороны, актуальность проблематики, с другой — полное непонимание разницы между языком политики и языком политической науки со всеми вытекающими отсюда методологическими последствиями. «Политический язык» определяется в докладе как «знаковая система, связывающая сигналы и сообщения (слова и выражения) с политическими понятиями (смыслами)»¹¹, но в то же время утверждается, что «русский политический язык был и остается языком международного общения»¹², и при этом ставится задача выработать единую версию *российского* политического языка («общий язык интеллектуально-политического сообщества должен быть российским»¹³ — sic!), для чего, в качестве первоочередной меры, предлагается... *создать Академию общественных наук при Президенте РФ*.

¹¹ *Перспективы 2015: 4.*

¹² *Там же: 60.*

¹³ *Там же.*

Вместе с тем выработаны средства описания и экспликации этих парадоксов — они не исчезают на уровне наблюдения, но элиминируются при переходе на более высокий уровень описания (как в предложенном Альфредом Тарским решении парадокса лжеца¹⁴). Так, добавление кавычек позволяет разграничить случаи, когда слово используется как *имя объекта* (знак) и когда оно используется как *имя имени (мета-знак)*: *роза увяла* и *«роза» — существительное*. Но такое разграничение не всегда возможно или же лишает словоупотребление требуемой многозначности (например: *роза — символ красоты*, где имя *роза* обозначает и знак, и цветок и не может быть помещено в кавычки). Возникает двойственность, которую Ролан Барт квалифицирует как обращение знака в политический миф: «Миф — это двойная система; в нем обнаруживается своего рода вездесущность: пункт прибытия смысла образует отправную точку мифа... Можно сказать, что значение мифа представляет собой некий непрерывно вращающийся турникет, чередование смысла означающего и его формы, языка-объекта и метаязыка... Миф же представляет собой значимость и не может рассматриваться с точки зрения истины; ничто не мешает ему сохранять вечное алиби; наличие двух сторон у означающего всегда позволяет ему находиться в другом месте, смысл всегда здесь, чтобы манифестировать форму; форма всегда здесь, чтобы заслонить смысл»¹⁵. Суть этого процесса раскрывается Бартом на примере фотографии чернокожего солдата во французском военном мундире, салютующего французскому флагу. Реальный солдат и абстрактная идея французской государственности взаимно интерпретируют друг друга и тем самым оказываются связаны в единый комплекс метазнаками. Идея государственности наделяет смыслом фотографию чернокожего солдата, а та, в свою очередь, наделяет реальностью абстракцию. Солдат становится столь же символичен, как и государственность, государственность — столь же реальна, как и солдат. Фотография — знак-икон, который в нашей культуре, в отличие от картины, служит также знаком достоверности,

¹⁴ Согласно Тарскому, истинность и ложность — это характеристики высказывания, его соответствие или несоответствие некоторому положению дел. Поэтому при разграничении описания высказывания (в кавычках) и описываемого состояния дел (без кавычек) парадокса не возникает: «Высказывание „Я лгу“ истинно, если и только если я лгу, и ложно, если и только если я не лгу» (Tarski 1944: 347—348).

¹⁵ *Барт 1994: 88—89.*

факта. Однако все последующие семантические операции над знаком-иконом осуществляются уже посредством естественного языка.

Проблема осложняется тем, что, будучи определенной формой поведения, политика предполагает как рефлексию над своими и чужими действиями, так и «публикацию», публичную текстуализацию этого поведения. В этом смысле политик предстает одновременно и «политологом» — наблюдателем, описывающим политические процессы. Возможны разграничения этих ролей, но это не влияет на используемый язык. Политика и осуществляется, и описывается (по крайней мере, ее «первичными» участниками-«политологами», то есть самими политиками, журналистами, аналитиками, политическими обозревателями, вплоть до политтехнологов) на обыденном языке. Над этими описаниями могут надстраиваться описания описаний, сделанные уже наблюдателями данных процессов. Описания и самоописания участников процессов и наблюдателей обязательно пересекаются — происходит постоянное изменение функций и позиций, поэтому язык-объект и метаязык неизбежно переплетаются, порождая при этом парадоксы и противоречия. Одновременно идет своеобразная лексикологическая работа по «правильному» толкованию ключевых единиц, например: «Кто такие „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов», «О лозунге Соединенных Штатов Европы» и т.п. Постановка этих выражений в кавычки призвана показать, что (как и в приводимом ниже «толковании» Ноама Хомского) речь якобы идет об уточнении смысла слов русского языка, а не о деконструкции Владимиром Лениным некоторых политических концептов. Разумеется, эти квазилингвистические определения служат конкретным политическим целям (созданию соответствующих институциональных фактов или некоей социальной реальности). Весьма показательны в этом плане теледебаты президентской кампании 2017 г. во Франции, в ходе которых кандидаты использовали почти идентичные выражения, но в совершенно разных смыслах, настаивая на «правильности» своей интерпретации¹⁶. Было бы абсурдным, если бы ведущий выступил в роли арбитра и, открыв «Larousse», установил, чье понимание «правильно», поскольку соответствует нормам французского языка. «Правильность» в подобных ситуациях определяется особыми процедурами (в данном случае — голосованием).

¹⁶ О них рассказал нам в личной коммуникации один из пионеров лингвистического анализа политического дискурса Патрик Серрио.

Разница между политическим и «обычным» языком — не в языковых средствах (поэтому нет никакой нужды придумывать «новояз»; множество «новоязов» заключено в самом естественном языке, «староязе»), а в правилах интерпретации (референции). В отличие от мира романа Оруэлла, в «нашем» мире политики используют «обычный язык» в расчете на то, что адресат послания не заметит, что его семантика, маскируясь под «обычное» словоупотребление, предполагает отличные правила интерпретации.

В качестве иллюстрации приведем предложенную Хомским экпликацию подобной «двойной» интерпретации («нормальной» и «пропагандистской») словосочетания *rogue state*: «В политическом дискурсе

чуть ли не каждый термин имеет как буквальный смысл, так и его пропагандистскую версию... Пропагандистская версия, как правило, превагирует; она представлена теми, кто имеет власть над дискурсом... В случае использования Соединенными Штатами термин „изгой“ относится ко всем, кто вне их контроля. Так, Куба — „государство-изгой“, поскольку не подчиняется господству США. В моем употреблении этого термина главным „изгоем“ в мире являются Соединенные Штаты». Такое употребление Хомский называет «нейтральным», доказывая, что под «изгоем» следует понимать «государство, которое игнорирует международное право, не соблюдает основополагающие договоры и конвенции, решения Международного суда»¹⁷. Как видим, Хомский тоже пытается выдать свое политизированное понимание за обусловленное самим языком, а не политической позицией. В политическом дискурсе требуется представить «пропагандистское» значение как «правильное», вытекающее из норм языка. *Власть над дискурсом* приводит к желаемой лексической интерпретации. Меняя значение, слово должно пониматься адресатом в необходимом для «власти» смысле, но это изменение должно носить завуалированный характер, создавая иллюзию обычного словоупотребления. Как правило, для того чтобы описать этот лингвистический трюк, «лексикографического» толкования бывает недостаточно; здесь нужны более тонкие механизмы модальной семантики.

¹⁷ *Rogue States* 2001.

Язык, на котором говорят о политических процессах, тем не менее может быть обособлен от самих политических процессов. Однако здесь возникает вопрос: не заменяется ли в этом случае присущий политической науке подход методом какой-либо из смежных дисциплин, чей аппарат она использует в качестве метаязыка? Не становится ли прибегающая к метаописанию политология не-политологией (семиотикой, демографией, историей, философией и проч. — возможно, с дополняющим эпитетом «политическая»)? Дело в том, что подобное обособление меняет статус исследуемого явления (поскольку речь идет о языке, для простоты и наглядности будем называть это явление текстом или дискурсом). Обособляя некоторый текст от политического процесса, мы тем самым меняем его функцию, и из политического документа он превращается в памятник истории, литературы, риторики и т.п. (как это произошло с речами Цицерона, Декларацией независимости, «Русской Правдой» и др.). Скажем, так и не вступивший в силу договор Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. — ценный памятник древнерусского языка, истории, права, экономических и дипломатических отношений, но в качестве политического документа он сможет выступить, только если обретет соответствующий статус (например — представим абсурдное, — для обоснования претензий Смоленской области на автономию). Из безмолвного памятника истории он тогда станет говорящим актантом и будет описан уже как событие текущей политики на ее же языке. Сам документ не изменится — изменится его функция и функционирование. Он приобретет политическую функцию.

Приведенные рассуждения позволяют нам точнее определить, что такое политическая функция языка — это условия, при которых язык приобретает политическую функцию. Тавтологичность данной дефиниции не случайна — она есть отражение автореферентности и перформативности институциональных фактов, которые и конституируют социальную онтологию. В развитие идеи Сёрля о статусных функциях языка как о генераторе институциональных фактов можно определить политическое как то, что обретает *статус* политического, но только *при некоторых удачных условиях*. Чтобы текст *заговорил*, необходим подходящий контекст, — это возможно только при соблюдении неких конвенций, также создаваемых институциональными фактами-текстами¹⁸.

¹⁸ См. Searle and Smith 2003.

При рассмотрении политического текста в комплексе с выполняемой им функцией меняются его семантические характеристики. Отмеченные выше перформативность и автореферентность приводят к тому, что под видом репрезентации реальности текст ее же и формирует. Как задолго до Сёрля заметил Мюррей Эдельман, «политический язык и есть политическая реальность; нет никакого другого смысла событий для вовлеченных в него участников и наблюдателей»¹⁹. Текст сам творит то, что призван отражать. Реальность не просто заменяется ее описанием, что происходит при функционировании любого текста, а выступает в форме своего отражения, уже структурированного в соответствии с некоторой концептуальной схемой, и имплицитно предполагает схему ожидаемого адресантом поведения адресата. В качестве аналогии можно представить себе зеркало, которое само не способно отражать, но наделено механизмом, воссоздающим в реальности некое изображение, которое видит наблюдатель (современные технологии создали множество подобных «зеркал»). Для более точной аналогии следует предусмотреть и наличие корректирующего механизма — обычного зеркала, которое в данной системе уже перестанет отражать «то, что есть на самом деле», а превратится в еще один источник производства двусмысленности. Такое «креативное зеркало» похоже на характерные для политического дискурса механизмы двоемыслия²⁰, описанного Оруэллом: «Даже пользуясь словом „двоемыслие“, необходимо прибегать к двоемыслию... И так до бесконечности, причем ложь все время на шаг впереди истины»²¹. К этому можно добавить предложенную Бартом метафору постоянно вращающегося турникета, позволяющего сохранять «вечное алиби»²²: истинностная оценка оказывается невозможна либо потому, что неясно, относительно чего (какой «действительности») оценивается истинность высказывания, либо оттого, что высказывание оценивается применительно к той концептуальной системе, которая им же и порождена.

¹⁹ Edelman 1985: 10.

²⁰ Подробнее см. Zolyan 2015; Золян 2018.

²¹ Оруэлл 1989: 148.

²² Барт 1994: 88—89.

NB! Данная ситуация описана Джорджем Лэкоффом и Марком Джонсоном на примере концептуальных метафор: «Новые метафоры, как и конвенциональные метафоры, могут обладать способностью определять действительность. Они осуществляют это посредством

связной сети следствий, высвечивающих одни свойства реальности и скрывающих другие. Принятие метафоры, заставляющей нас фиксировать внимание только на тех сторонах опыта, которые она высвечивает, приводит нас к суждению об истинности ее следствий. Такие „истины“, конечно, могут быть истинными только относительно той реальности, которая определяется этой метафорой»²³.

²³ Лэкофф и Джонсон 2004: 27.

Наличие особых механизмов семантизации политического дискурса интуитивно ощущается как отклонение от обычного употребления. Поскольку же обычное (и основное) — это соответствие высказываний действительности (по крайней мере, это касается утверждений, то есть высказываний в изъявительном наклонении), то, как правило, фиксируется отклонение именно этой фундаментальной характеристики. Несответствие действительности квалифицируется в семантических теориях как ложность или бессмысленность высказывания. Отсюда и расхожее представление о языке политики как о бессмыслице («пустословии») или лжи. Интуитивное ощущение того, что при использовании языка в политической функции высказывания могут не иметь референциального измерения, находит отражение в распространенном мнении, что политики — лгуны. Так расценивал политиков и их язык, в частности, Оруэлл: «Политический язык — и это относится ко всем политическим партиям, от консерваторов до анархистов, — предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство — достойным делом, а пустословие звучало солидно»²⁴. Но такое положение вещей может восприниматься и без оруэлловского сарказма. Мысль о том, что критерием приемлемости высказывания является не истинность, а политическая целесообразность (действия «для пользы своего государства»), эксплицитно выражена уже у Платона: «Уж кому-кому, а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан для пользы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать... Если правитель уличит во лжи какого-нибудь гражданина, он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, переворачивающий государство, как корабль»²⁵. Однако это сугубо негативная характеристика — в противном случае политикам бы никто не верил, и их высказывания толковались бы с точностью до наоборот (как это и в самом деле иногда бывает при тоталитарных порядках).

²⁴ Оруэлл 2003: 356.

²⁵ Платон 1994: 152.

NB! Прекрасное описание подобной ситуации дано в детской повести Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов». В этой стране запрещено говорить правду, и, чтобы адекватно интерпретировать новости, которые публикуют газеты «Образцовый лжец» или «Вечерняя ложь», ее жители просто меняют высказывания на противоположные.

Между тем особенность политического дискурса заключается не во лжи (несоответствии действительности), а в множественной

референции, одновременной (или «турникетной») интерпретации высказывания как минимум в двух интерпретационных областях («мирах»). Целеполагание и целесообразность становятся модальностью, то есть семантической характеристикой, определяющей межмировые отношения. При этом различие в модальностях может быть зафиксировано посредством определенных семиотических процедур интерпретации, позволяющих разграничивать эти модальности и соответствующие им области референции (миры). Нагляднее всего это проявляется в описывающих нормы поведения деонтических текстах (кодексах, регламентах, уставах и т.п.) — должное состояние дел там имплицитно противопоставляется наличествующему, но не смешивается с ним. Так, статьи конституции того или иного государства не становятся ложными, если они не выполняются: их цель не описание «имеющего быть», а соотнесение «имеющего быть» с «должным». Однако лингвистическая форма этих статей — индикатив, описание существующего положения вещей. Смешение двух модальностей встречается и вне политического дискурса, например, в обобщающих суждениях типа: «Судьи справедливы», «Врачи добры», «Злоупотребление служебным положением карается законом»; индикатив в данном случае описывает не состояние дел, а некую норму, эксплицитное выражение которой потребует введения соответствующего модального оператора — «должны», «обязаны» и т.п. Язык в политической функции использует и такую форму создания двусмысленности. Речь идет, как отмечает Лассвелл, о сочетании дескриптивного и прескриптивного: «Политическая формула носит одновременно прескриптивный и дескриптивный характер — ее характерной чертой является двойное толкование в соответствии с общепринятыми нормами... Она прескриптивна, так как предполагает соответствие определенной спецификации и содержит в себе символы, нацеленные на аргументированное оправдание или осуждение данных политических практик. Но ее также можно назвать дескриптивной, поскольку... в ней присутствует соответствие предъявляемым требованиям и, предположительно... данная формула принимается большинством людей как корректно описывающая модели и практики власти»²⁶. Но действует тот же принцип «*постоянно вращающегося турникета*»: дескрипция легитимируется нормой, норма мотивируется дескрипцией. Отношение истинности или ложности перестает быть релевантной семантической характеристикой.

Указанную двойственность можно проиллюстрировать следующим примером. Ст. 8 Конституции Армении гласит: «*В Республике Армения гарантируются свобода экономической деятельности и свободная экономическая конкуренция*». Здесь соотнесены между собой две разных реальности, две области референции, два мира. Первый из них — это Республика Армения как она есть с ее сверхмонополизированной экономикой, второй — *Республика Армения* как некий лингвоправовой конструкт, некий институциональный объект. Такие объекты, в отличие от физических, создаются знаковыми средствами

²⁶ Лассвелл 2006: 273—274.

(правилами, перформативами) и не могут существовать вне системы знаков и текстов, одним из которых и является цитируемая Конституция. Так, если семантику слова «Армения» можно свести к некоторому набору характеристик, независимых от его языкового выражения, то «Республика Армения» может быть определена лишь посредством текстов и процедур. Но утверждение, что приведенное выше высказывание не имеет отношения к реальности, абсурдно — оно равнозначно утверждению, что имя собственное «Республика Армения» не имеет отношения к Республике Армении. Столь же абсурдным будет и утверждение, что это ложное высказывание; статьи конституции могут не выполняться на практике, но не могут быть ложными — именно потому, что являются статьями конституции (их «ложность» или «недействительность» может быть следствием лишь несоблюдения процедуры их принятия, например фальсификации результатов голосования). Это вновь наводит на мысль, что, будучи рассмотрены как политический дискурс, статьи конституции уподобляются перформативам и представляют собой обязательства (то есть обещания государства, которые оно может и не выполнять, но которые от этого не перестают быть обещаниями). При этом место говорящего, того, кто берет на себя обязательство, занимает неодушевленный адресант, тем самым порождая еще одну лингвистическую фикцию — государство (или какой-то иной политический институт) выступает не только в качестве институционального факта, но и в качестве субъекта речевого акта, что тоже можно считать типичным проявлением языка в политической функции.

²⁷ Заметим, что возможна и персонализованная трактовка «авторства» подобных текстов, но она опять-таки будет соотносена не с физическим автором («работчиком»), а с лицом, на которое возлагается ответственность за текст как речевой акт. Так, конституции Армении неформально именуется по фамилиям иницировавших их президентов — Тер-Петросяновская, Кочарьяновская и Саргсяновская. Применительно к советскому прошлому говорят о Сталинской и Брежневской конституциях.

Кто автор приведенного высказывания? Разумеется, работающий в архивах историк в состоянии выяснить, кто из разработчиков Конституции написал соответствующее предложение, но не он явится говорящим. В данном случае *говорящим* будет сама Республика Армения, декларирующая свое существование и описывающая сама себя как некоторую систему норм и благих пожеланий²⁷. Соответственно, вся семантическая система, относительно которой интерпретируется это высказывание, становится ориентированной не на мир-контекст некоего конкретного говорящего, а на определенный лингвополитический конструкт, создаваемый данным институтом — субъектом речевого акта. Это и самописание Республики Армении — как она видит себя, и ее обещание быть такой, какой она себя описала. Сами по себе, вне контекста, высказывания «*В Республике Армения гарантируется свобода экономической деятельности*» и «*Неверно, что в Республике Армения гарантируется свобода экономической деятельности*» не противоречат друг другу, поскольку они могут относиться к разным референтам и разным мирам. Рассматриваемые вне сферы действия политической функции языка, они лишаются двойственности. Например, в нашей работе они приводятся как иллюстрации к определенным лингвосемиотическим положениям и не выполняют какой-либо политической функции. Только в конкретном

тексте будет возможно установить их референцию — к какой системе миров они относятся и какой мир в данной системе фигурирует как центральный, применительно к которому определены модальные отношения межмировой достижимости. Эти высказывания могут быть отнесены к политическому дискурсу, если, по Лассвеллу, будут затрагивать систему властных отношений в Армении, упрочивая позиции правящего режима или же противостоя ему. Встретившись же в экономическом обзоре или в диссертации по конституционному праву, они перестанут относиться к политическому дискурсу и должны будут оцениваться уже по иным основаниям. Задаваемая текстом институциональная реальность может рассматриваться как тот предел, к которому стремится «очищенная» от физических реалий («грубых» фактов) область референции языка в политической функции. Так, Армения и ее жители превращаются в Республику Армению, ее граждан и резидентов, то есть в некий конструкт, определяемый прескриптивными текстами, которые под видом дескриптивных описывают ту самую реальность, которую сами же и создают. Реальный человек заменяется знаком самого себя — паспортом, то есть неким перформативным текстом, отсутствие которого превращает человека в «не-людь» (вольный перевод оруэлловского non-person).

Лингвосемиотические характеристики языка в политической функции могут быть дополнены лингвокоммуникативными, если расширить схему языковых функций Романа Якобсона путем включения в нее политической функции. Поскольку это тема нуждается в особом рассмотрении, мы ограничимся здесь лишь основными тезисами.

Схема Якобсона опирается на модель коммуникации Клода Элвуда Шеннона; каждый из шести ее компонентов (адресат, адресант, код, канал, контекст, сообщение) может стать в коммуникации доминирующим, реализуя ту или иную функцию из шести базовых. В концепции оговорена возможность появления новых функций путем совмещения как самих базовых функций, так и критериев их выделения. В качестве примера Якобсон приводит магическую функцию: «Из этой триады функций можно легко вывести некоторые добавочные функции. Так, магическая, заклинательная функция — это как бы превращение отсутствующего или неодушевленного „третьего лица“ в адресата сообщения»²⁸. Не предусмотренная им политическая функция может быть истолкована как перевернутая магическая, когда «отсутствующее или неодушевленное „третье лицо“ превращается не только в адресата, но и в адресанта, отправителя сообщения»²⁹. Так представляют себя власть и ее институты: «Мы, народ»; «Мы, Объединенные Нации». В подобных именовании установкой является именно деперсонификация реальных адресантов в лице носителей власти; власть стремится эксплицитировать себя в квазиодушевленном субъекте. Взаимозаменяемость местоимений «я» и «мы», а также замена их именем неодушевленного субъекта-института — характерные признаки того, что язык в данном случае выступает в политической функции.

²⁸ Якобсон 1974: 200.

²⁹ Об этом см. Золян: 1999.

Даже если речь предельно, чуть ли не биографически персонифицирована, персону говорящего приобретает мифологические левиафановские черты. Так, первые строки изданного императором Францем-Иосифом Манифеста, официально оформившего начало величайшей трагедии, Первой мировой войны, напоминают скорее выдержку из дневника, а его продолжение — это речь от лица не 83-летнего старца, а сказочного исполина, своим мечом защищающего *верно толпящиеся у его престола народы* от врага: «Моим искреннейшим желанием было посвятить те годы, которые мне еще будут предоставлены Божиею милостью, делам мира и охранить мои народы от тяжелых жертв и тягот войны. Провидение судило иначе. Происки преисполненного ненавистью противника вынуждают меня ради охранения чести моей монархии, для защиты ее престижа и ее державного положения, а равно для охранения ее достоинства после долгих лет мира взяться за меч... Ввиду этого я вынужден приступить к тому, чтобы силою оружия создать необходимые гарантии, которые должны обеспечить моим государствам внутреннее спокойствие и длительный мир извне»³⁰. Сам Манифест был назван «Моим народам!» и издан на всех языках Австро-Венгерской империи — чтобы каждый из народов-адресатов мог адекватно его понять. Персонифицированность не отменяет левиафановских характеристик адресанта, затемняющих реального (одушевленного) говорящего. Напротив, последний и не должен фигурировать при контекстуализации текста, ибо несоответствие между этими двумя ипостасями говорящего создаст лишь трагикомический эффект (подобный эффекту от сочиненных Ярославом Гашеком образчиков австро-венгерского имперского официоза из «Похождений бравого солдата Швейка»).

³⁰ Франц-Иосиф 1914. Нетрудно убедиться, что в большинстве случаев «я» может быть заменено здесь множественным «мы» или неодушевленным «Австро-Венгрия».

Как видим, связь политического действия и ритуала проявляется как возможность трансформации магической функции в политическую³¹, левиафановскую. Как магическая, так и политическая функции метафоризируют обычную схему коммуникации — от субъекта-адресанта к субъекту-адресату, обратимость которых создает симметрию между ними: в процессе коммуникации адресат становится адресантом, и наоборот. Но при этом в обычной вербальной коммуникации предполагается, что говорить и слушать могут только существа одушевленные. Согласно языковому синтаксису, любой объект, занимающий позицию говорящего и слушающего, обязан быть одушевленным (священное дерево, говорящий камень, внимающая молитве икона и т.п.) и наделяется квазисубъектностью. Помещение некоторого института в позицию адресата или адресанта наделяет его мифологическим существованием в пределах данного дискурса.

³¹ Из многочисленных уподоблений магии и политики упомянем главу «Политическая магия и язык» из уже цитированной статьи Лассвелла (Лассвелл 2006: 267—269).

NB! «Политический документ, — отмечает Святослав Каспэ, — представляет собой магическое действие, инкантаментум, предназначенный не просто донести тот или иной месседж до его непосредственных адресатов, но изменить самоё действительность,

в которой и адресант, и адресаты находятся и над которой (которыми) властвует генеральная референтная инстанция — безымянный „дух государства“»³².

³² Каспэ 2010: 22.

При политической коммуникации происходит институционализация не только адресата и адресанта, но и самой коммуникации, реальная коммуникация формализуется как ее семиотический аналог (так, письма друг другу двух действующих президентов — это уже коммуникация между государствами-Левиафанами³³). Возможны различные комбинации, и один и тот же текст может выполнять разные функции. Неодушевленными адресата и адресанта делает институциональный контекст, благодаря которому выбирается нужная интерпретация — описывает ли текст действия одушевленного лица (скажем, взявшего в руки меч и ополчившегося на вражеские армии императора-великана) или же вербализированные процедуры некоторого политического субъекта, в данном случае государства. Трансформация адресата и адресанта в неодушевленный субъект — пожалуй, наиболее очевидное проявление языка в его политической функции с соответствующим семантическим преобразованием текста в целом. При этом, будучи превращены в неодушевленный институт, адресат и адресант обретают надлежащую институциональную силу — менять мир сообразно данным им социумом полномочиям монарха, президента, судьи, взводного и т.п. Их слово, поддержанное институциональной силой, становится воплощенным в некое состояние мира делом. И здесь отчетливо видно как сходство магической и политической функций языка, так и различие между ними: в обоих случаях предполагается, что речевой акт приведет к изменению мира, и участники этого акта наделяются подобающей силой, но в одном случае источник этой силы — мифология, в другом — социальная структура общества.

³³ Ср. «Политический документ, по крайней мере интенционально, вызывает к самому „духу государства“, а вовсе не к президенту, губернатору, депутатам, партии или народу; напротив, его интенция состоит в том, чтобы использовать президентов, губернаторов, депутатов, партии или народы как посредников в разговоре с этим духом и тем самым склонить их к тому или иному способу служения ему» (Каспэ 2010: 20).

Библиография

- Барт Р. (1983) «Нулевая степень письма» // Степанов Ю.С., ред. *Семиотика*. М.: Радуга: 306—349.
- Бергер П. и Т.Лукман. (1995) *Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания*. М.: Медиум.
- Витгенштейн Л. (1958) *Логико-философский трактат*. М.: Наука.
- Золян С.Т. (1999) «Языковые функции: возможные расширения модели Р.Якобсона» // Баран Х. и С.И.Гиндин, ред. *Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования*. М.: РГГУ: 638—648.
- Золян С.Т. (2016) «Семиотика и прагмасемантика политического дискурса» // *Политическая наука*, № 3: 47—75.
- Золян С.Т. (2018) «„Двоемыслие“ и семиотика политического дискурса» // *Полис. Политические исследования*, № 3: 93—109.
- Каспэ С.И. (2010) «„Отразить суть“: к онтологии политического документа» // *Полития*, № 3—4 (58—59): 7—24.

Лакофф Дж. и М.Джонсон. (2004) *Метафоры, которыми мы живем*. М.: Едиториал УРСС.

Лассвелл Г. (2006) «Язык власти» // *Политическая лингвистика*. Вып. 20. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет: 264—279. URL: <http://politlinguist.ru/materials/pl/20.pdf> (проверено 29.06.2018).

Малиновский Б. (2005) «Проблема значения в примитивных языках» // *Эпистемология и философия науки*, Т. 5, № 3: 199—233.

Оруэлл Дж. (1989) «1984» // Оруэлл Дж. *«1984» и эссе разных лет*. М.: Прогресс.

Оруэлл Дж. (2003) «Политика и английский язык» // Оруэлл Дж. *Лев и Единорог: Эссе, статьи, рецензии*. М.: Московская школа политических исследований: 341—356.

Перспективы и механизмы консолидации экспертного сообщества: к российской версии политического языка. Аналитический доклад. (2015) М.: Центр общественно-политических проектов и коммуникаций. URL: [https://www.rea.ru/ru/org/managements/Nauchnaja-shkola-Vyshshaja-shkola-publichnojj-politiki/SiteAssets/Pages/subordinateunits/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20\(1\).pdf](https://www.rea.ru/ru/org/managements/Nauchnaja-shkola-Vyshshaja-shkola-publichnojj-politiki/SiteAssets/Pages/subordinateunits/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20(1).pdf) (проверено 24.06.2018).

Платон. (1994) «Государство» // Платон. *Собрание сочинений: В 4-х т.* Т. 3. М.: Мысль: 79—420.

Платон. (2006) «Кратил» // Платон. *Сочинения: В 4-х т.* Т. 1. СПб.: Изд-во СПбГУ; Изд-во Олега Абышко: 421—502. URL: <http://pavgoz.ru/files/plato1.pdf> (проверено 24.06.2018).

Серль Дж.Р. (1986) «Классификация иллокутивных актов» // *Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов*. М.: Прогресс: 170—194.

Франц-Иосиф. (1914) «Моим народам!» // *Правительственный вестник*, 17(30).07: 4.

Якобсон Р. (1975) «Лингвистика и поэтика» // Басин Е.Я. и М.Я.Поляков, ред. *Структурализм: «за» и «против»*. М. Прогресс: 193—230.

Edelman M. (1985) «Political Language and Political Reality» // *Political Science & Politics*, vol. 18, no. 1: 10—19.

Searle J. (1995) *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.

Smith B. and J.Searle. (2003) «The Construction of Social Reality: An Exchange» // *American Journal of Economics and Sociology*, vol. 62, no. 2: 285—309.

«Rogue States Draw the Usual Line: Noam Chomsky interviewed by Christopher Gunness». (2001) // *Agenda*, May. URL: <https://ru.scribd.com/document/227607292/Noam-Chomsky-Rogue-States-Draw-the-Usual-Line> (accessed 21.06.2018).

Tarski A. (1944) «The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics» // *Philosophy and Phenomenological Research*, vol. 4, no. 3: 341—376.

Wittgenstein L. (1958). *Philosophical Investigations*. London: Basil Blackwell.

Zolyan S. (2015) «Language and Political Reality: George Orwell Re-considered» // *Sign System Studies*, vol. 43, no. 1: 131–149.



ԾՈՒՄԻՆ

S.T.Zolyan

LANGUAGE OF POLITICS OR LANGUAGE IN POLITICAL FUNCTION?

Suren T. Zolyan — Doctor of Philology; Leading Researcher at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the National Academy of Sciences of Armenia (Yerevan); Professor at the Institute of Humanities of the Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad). Email: surenzolyan@gmail.com.

Abstract. The article attempts to distinguish between the notions of “language of politics” and “language in political function”. The “language of politics” is usually defined as language means used in political communication or for political purposes. The author suggests that “language in political function” would be a more appropriate term for such definition.

Politics can be viewed as a communicative modus of human activity, in which language plays the role of an instrument or even an instrument of all political instruments. The growing influence of communicative and semantic factors upon the political processes entails an even greater increase in the importance of semiotic characteristics. However, the reverse perspective can also be true: interpreting politics as a special form of linguistic activity — accommodation of the world to words produced through the institutionalized speech acts. Performativity and autoreferentiality of institutional facts that constitute social ontology imply that under the guise of representing reality the text actually forms reality.

The linguistic and semiotic characteristics of language in political function can be supplemented by communicative ones through introducing a political function into R.Jakobson’s pattern of language functions. It can be interpreted as an inverted magical function, when “an absent or inanimate „third person“” turns into not only an addressee, but also a sender of the message. In the process of the political communication, not only an addressee and an addresser, but also communication itself, are institutionalized. The real communication is formalized as its semiotic analogue. As in the case with the magic function of language, a speech act is assumed to lead to a change of the world, and the participants of this act are endowed with

the appropriate power, but the source of this power is not mythology, but rather the social structure of society.

Keywords: language, political function, speech acts, political communication, political reality

References

- Barthes R. (1983) “Nulevaja stepen’ pis’ma” [Le degré zéro de l’écriture] // Stepanov Yu.S., ed. *Semiotika* [Semiotics]. Moscow: Raduga: 306–349. (In Russ.)
- Berger P.L. and T. Luckmann. (1995) *Sotsial’noe konstruirovanie real’nosti: Traktat po sotsiologii znanija* [The Social Construction of Reality. A Treatise on Sociology of Knowledge]. Moscow: Medium. (In Russ.)
- Edelman M. (1985) “Political Language and Political Reality” // *Political Science & Politics*, vol. 18, no. 1: 10–19.
- Franz Joseph. (1914) “Moim narodam!” [An meine Völker!] // *Pravitel’stvennyj vestnik* [Official Gazette], 17(30).07: 4. (In Russ.)
- Jakobson R. (1975) “Lingvistika i poetika” [Linguistics and Poetics] // Basin E.Ya. and M.Ya.Poliakov, eds. *Strukturalizm: “za” i “protiv”* [Structuralism: Pro et Contra]. Moscow: Progress: 193–230. (In Russ.)
- Kaspe S.I. (2010) “„Otrazit’ sut’“: k ontologii politicheskogo dokumenta” [“To the Essence”: Ontology of Political Document] // *Politeia*, no. 3–4 (58–59): 7–24. (In Russ.)
- Lakoff G. and M. Johnson. (2004) *Metafori, kotorymi my zhivem* [Metaphors We Live by]. Moscow: Editorial URSS. (In Russ.)
- Lasswell H. (2006) “Jazyk vlasti” [The Language of Power] // *Politicheskaja lingvistika* [Political Linguistics], vyp. 20. Ekaterinburg: Ural’skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet: 264–279. URL: <http://politlinguist.ru/materials/pl/20.pdf> (accessed 29.06.2018). (In Russ.)
- Malinowski B. (2005) “Problema znachenija v primitivnykh jazykakh” [The Problem of Meaning in Primitive Languages] // *Epistemologija i filosofija nauki* [Epistemology & Philosophy of Science], vol. 5, no. 3: 199–233. (In Russ.)
- Orwell G. (1989) “1984” // Orwell G. *“1984” i esse raznykh let* [“1984” and Essays of Different Years]. Moscow: Progress. (In Russ.)
- Orwell G. (2003) “Politika i anglijskij jazyk” [Politics and the English Language] // Orwell G. *Lev i Edinorog: Esse, stat’i, retsenzii* [The Lion and the Unicorn: Essays, Articles, Reviews]. Moscow: Moskovskaja shkola politicheskikh issledovanij: 341–356. (In Russ.)
- Perspektivy i mekhanizmy konsolidatsii ekspertnogo soobshchestva: k rossijskoj versii politicheskogo jazyka. Analiticheskij doklad* [Perspectives and Mechanisms of Consolidation of the Expert Community: to the Russian Version of Political Language. Analytical Report]. (2015) Moscow: Tsentr obshchestvenno-politicheskikh proektov i kommunikatsij. URL: <https://www.rea.ru/ru/org/managements/Nauchnaja-shkola-Vyshshaja-shkola-publichnojj-politiki/SiteAssets/Pages/subordinateunits/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D>

0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20(1).pdf (accessed 24.06.2018). (In Russ.)

Plato. (1994) “Gosudarstvo” [The Republic] // Plato. *Sobranie sochinenii: V 4-kh t.* [Works in Four Volumes]. Vol. 3. Moscow: Mysl': 79—420. (In Russ.)

Plato. (2006) “Kratyl” [Cratylus] // Plato. *Sochinenija: V 4-kh t.* [Works in Four Volumes]. Vol. 1. St Petersburg: Izd-vo SPbGU; Izd-vo Olega Abyshko: 421—502. URL: <http://pavroz.ru/files/plato1.pdf> (accessed 24.06.2018). (In Russ.)

“Rogue States Draw the Usual Line: Noam Chomsky interviewed by Christopher Gunness”. (2001) // *Agenda*, May. URL: <https://ru.scribd.com/document/227607292/Noam-Chomsky-Rogue-States-Draw-the-Usual-Line> (accessed 21.06.2018).

Searle J. (1986) “Klassifikatsija illokutivnykh aktov” [A Classification of Illocutionary Acts] // *Novoe v zarubezhnoj lingvistike. Vyp. 17: Teorija rechevykh aktov* [Foreign Linguistic News. Vol. 1: Speech Act Theory]. Moscow: Progress: 170—194. (In Russ.)

Searle J. (1995) *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.

Smith B. and J.Searle. (2003) “The Construction of Social Reality: An Exchange” // *American Journal of Economics and Sociology*, vol. 62, no. 2: 285—309.

Tarski A. (1944) “The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics” // *Philosophy and Phenomenological Research*, vol. 4, no. 3: 341—376.

Wittgenstein L. (1958) *Logiko-filosofskij traktat* [Logisch-philosophische Abhandlung]. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Wittgenstein L. (1958). *Philosophical Investigations*. London: Basil Blackwell.

Zolyan S.T. (1999) “Iazykovye funktsii: vozmozhnye rasshirenija modeli R.Jakobsona” [Language Functions: The Possible Extensions of R.Jacobson’s Model] // Baran H. and S.I.Gindin, eds. *Roman Jakobson: Teksty, dokumenty, issledovanija* [Roman Jakobson: Texts, Documents, Studies]. Moscow: RGGU: 638—648. (In Russ.)

Zolyan S. (2015) “Language and Political Reality: George Orwell Reconsidered” // *Sign System Studies*, vol. 43, no. 1: 131—149.

Zolyan S.T. (2016) “Semiotika i pragmasemantika politicheskogo diskursa” [Semiotics and Pragmasemantics of Political Discourse] // *Politicheskaja nauka* [Political Science], no. 3: 47—75. (In Russ.)

Zolyan S.T. (2018) “„Dvoemyslie“ i semiotika politicheskogo diskursa” [“Doublethink” and Semiotics of Political Discourse] // *Polis. Politicheskie issledovanija* [Polis. Political Studies], no. 3: 93—109. (In Russ.)